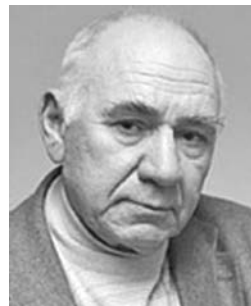


Николай

Анастасьев



ТОЛСТОЙ, АБАЙ И ДРУГИЕ

*Примечания к «Кругу чтения», «Словам назидания»
и еще нескольким сочинениям того же рода*

*Абдижамилу Нурпеисову – доброму мудрому другу,
мастеру, человеку, приоткрывшему мне тайну
Великой Степи.*

О пристальном, порою страстном интересе Абая к русской литературной классике написано и пишется много; при этом собеседниками его, соучастниками диалога выступают прежде всего Пушкин и Лермонтов, иногда к ним присоединяется Крылов.

Это естественно. Всех их Абай переводил на казахский. То есть что значит – «переводил»? Под пером, а вернее говоря, в исполнении Абая «Евгений Онегин» утратил жанровую форму оригинала, превратившись в эпистолярный роман или, скорее, повесть, – переписку Евгения и Татьяны, тоже зеркально непохожих, то есть представленных в перевернутом изображении, на пушкинских героев. Нет тут Татьяны с ее неотразимой простотой и безоглядной откровенностью, и уж тем более нет Онегина – байронический тип и «обаятельный диалектик» сделался «образцовым джигитом». Это не мое определение (отсюда и кавычки), это определение Мухтара Ауэзова – не только автора прославленного романа, но и основоположника целой научной дисциплины – абасведения. «Переведенные отрывки из романа «Евгений Онегин», – пишет он, – скорее не перевод, а вдохновенный пересказ».

Нечто подобное можно, наверное, сказать о сделанных Абаем переводах-пересказах Лермонтова – «Выхожу один я на дорогу», «Ветка Палестины», «Парус», «Горные вершины», «Мцыри», «Еврейские мелодии»...

Ну и что?

Русские фавориты Абая тоже любили выдавать пересказы за переводы. «Горные вершины» – это совсем не гётевская «Wanderers Nachtlied», а «Будрыс и его сыновья» – не «Trzech Budrysow» Адама Мицкевича. Не говоря уж о вариациях на тему, коих был великим мастером Жуковский – «Ленора» (Бюргер), «Сельское кладбище» (Томас Грей)...

Короче, его же, Жуковского, словами говоря, поэт-переводчик – соперник (хотя переводчика-прозаика, назвав его рабом, он, по-моему, обидел зря). Или иначе,



пусть и звучит тяжеломерно: обращаясь к оригиналу, созданному в свое время и в своей среде, переводчик не просто усваивает его, но *присваивает* и делает достоянием своего времени и своей среды. В данном случае – Великой Степи второй половины XIX века.

Но это свой сюжет, хотя к усвоению-присвоению, этому узаконенному воровству, мы еще вернемся.

Пушкин, Лермонтов, Крылов – а имя Льва Толстого не звучит, или почти не звучит.

И это тоже естественно. Абай Толстого не переводил. Больше того, не очень понятно, знаком ли был он ему сколь-нибудь близко, задевал ли струны души столь же интимно, сколь задевали их русские поэты.

Что мы знаем на сей счет?

Фрагмент из романа Мухтара Ауэзова «Путь Абая» – описание эпизода, случившегося в семипалатинской библиотеке, куда заглавный герой зашел взять свежий номер «Русского вестника»:

«К разговаривавшим Абаю и библиотекарю шагнул высокий человек с окладистой бородой и могучим лысым черепом, стоявший рядом со столом выдачи.

– Этот номер у меня, – произнес он густым басом. – Но я уже его просмотрел, могу отдать вам. Только скажите сначала: почему вы спрашиваете?

– Там печатается новый роман Толстого, я хочу его прочитать.

– Так вы знаете сочинения Толстого? А что вас заинтересовало в них? – живо спрашивал бородач. – И давно ли вы начали их читать?

– Нет, я еще совсем мало знаком с книгами Толстого, но слышал, что это самый мудрый, самый великий сын своего народа. Вот я и хочу узнать, чему учит этот человек».

Поэт – не хронист, а художественная правда вполне может презирать правду факта. Даты не сходятся: встреча, описанная в романе, произошла, судя по всему, в 1870-1871 году, а «Война и мир» печаталась в «Русском вестнике» (а это единственный из романов Толстого, опубликованных в катковском журнале) в 1865 году, когда обладатель бороды, могучего лысого черепа и басовитого голоса – то есть радикал-карбонарий Евгений Михаэлис, выступающий в романе под именем Евгения Михайлова – отбывал еще ссыльные сроки в Тобольской губернии. Так что как свидетельство сколько-нибудь близкого знакомства Абая с Толстым эту сцену следует отклонить. Романиста тут явно интересует не столько Толстой, сколько Михайлов – человек, действительно сыгравший большую роль в духовном воспитании Абая. И недаром, наверное, Ауэзов – уже не художник, но ученый-филолог, даже краем не касается в своих научно-биографических сочинениях этой темы: Абай – Толстой.

Может, и нет ее вовсе?

Ибо, что еще, помимо убедительной художественно, но недостоверной исторически сцены романа, имеется в нашем распоряжении?

Давняя (1913 года) статья одного из самых ярких вождей Алаш-Орды, а также педагога и поэта-баснописца Ахмета Байтурсынова, в которой он, говоря о круге чтения Абая, называет между прочим имя Толстого.

Наконец, строка из стихотворения:

О Щедрине и о Толстом

Не слышали, куда там!

(Перевод С. Ботвинника)

Не густо.

Но тем удивительнее, что в отсутствие прямых переключек и сколько-нибудь откровенного диалога протягиваются невидимые и неведомые связующие нити. Вершины сходятся – это Марина Цветаева прозорливо заметила.

На рубеже 80-х годов позапрошлого столетия Абай практически оставил стихо- и песнетворчество и принялся записывать «Қара сөз», буквально – «черные», а метафорически – «прямые», «откровенные», «правдивые» слова. Точнее, не столько записывать, сколько наговаривать: в письменной форме первое из этих Слов, общим числом в сорок пять, увидело свет лишь в 1916 году, через двенадцать лет после ухода Сказителя, еще несколько – усилиями молодого Мухтара Ауэзова, только начинавшего тогда реконструировать жизненный путь Абая, в 1921 году, и лишь во второй половине века появился полный свод, именуемый в русском переводе, выполненном В. Б. Шкловским, «Словами назидания».

А за пять-шесть лет до того, как Абай проговорил свое первое Слово, Лев Толстой, его старший (родился на 17 лет раньше, на шесть лет позже умер) современник, у себя в Ясной Поляне, записал в дневнике: «Надо себе составить круг чтения: Эпиктет, Марк Аврелий, Лаоцы, Будда, Паскаль, Евангелие. Это и для всех было бы нужно».

Замкнулся этот круг лишь два десятилетия спустя, уже после смерти Абая, случившейся, впрочем, всего несколько месяцев назад.

24 сентября 1904 года Толстой сообщает Г. А. Русанову, юристу, своему давнему горячему почитателю и постоянному корреспонденту (кстати, ровеснику Абая): «Я занят последнее время составлением... круга чтения на каждый день, составленного из лучших мыслей лучших писателей. Читал всё это время, не говоря уж о Марке Аврелие, Эпиктете, Ксенофонте, Сократе, о Брамминской, Китайской, Буддисткой мудрости, Сенеку, Плутарха, Цицерона и новых – Монтескье, Руссо, Вольтера, Лессинга, Канта, Лихтенберга, Шопенгауэра, Эмерсона, Чаннинга, Паркера, Рескина, Амьеля и других... Я всё больше и больше удивляюсь тому – не невежеству, а «культурной» дикости, в которую погружается наше общество. Ведь просвещение, образование есть то, чтобы воспользоваться, ассимилировать всё то духовное наследие, которое оставили нам предки».

А дальше начались издательские приключения, а вернее сказать, злоключения. Не удовлетворившись первым (1906 года) изданием, Толстой продолжал расширять круг «лучших мыслей лучших писателей». Второе издание увидело свет сначала в Одессе, еще при жизни автора, второе – в Санкт-Петербурге, уже после ухода Толстого, в самом конце 1910 года, и буквально на другой день после появления на книжных прилавках было арестовано – заодно с первым (что, конечно, носило комический оттенок, ибо этот, четырехлетней давности, тираж был давно распродан). А руководитель издательства «Посредник», под грифом которого был выпущен «Круг», И. И. Горбунов-Посадов ровно через год после смерти Толстого предстал перед судом, приговорившим его к году заключения в крепости за издание книги, включающей «изречения, отрывки из сочинений разных авторов и статьи, ... возбуждающие к ниспровержению существующего в России общественного и государственного строя, к неповиновению закону и законным распоряжениям власти...» – перечень прегрешений автора (и нет нужды, что это великий писатель и всемирный моральный авторитет), а равно издателя слишком долгов, чтобы приводить его здесь полностью.

Одновременно «Круг чтения» был к печатанию и распространению разрешен, но с двенадцатью цензурными изъятиями, а в неурезанном виде опубликован лишь в 90-томном издании сочинений Л. Н. Толстого, начатом в юбилейном, 1928 году, и завершённом тридцать лет спустя.

Ну, и к чему, позволительно задаться тем же вопросом, вся эта история?

Близко сходятся даты?

Но сходжение это совершенно случайно, а если всё же принимать во внимание хронологию, то куда естественнее, казалось бы, вспомнить в нашем контексте другого казахского просветителя, Ибрая Алтынсарина, который примерно в те же годы, что Толстой, подступался к «Кругу чтения» (тогда еще будущему), а Абай к «Словам», переводил сказки и маленькие рассказы из «Азбуки» и брал у их автора уроки народной педагогики.

Издательские мытарства?

Но ведь это совсем разные мытарства, разве что в одном случае линии, идущие параллельно, пересекаются: 38-е, наиболее насыщенное в философском смысле, Слово Абая было услышано-прочитано много позже всех остальных – цензуру, уже не императорскую, а советскую (но какая разница – все они на одно лицо) сильно смущали его религиозные мотивы. Так ведь такого рода гротесками мировая литературная сцена насыщена слишком густо – зачем тут искать какие-то соположения, кроме того, что власть всегда относится к поэту, о чем бы, когда бы и на каком языке он ни изъяснялся, в высшей степени настороженно, а то и враждебно.

Мотивы?

Да, вот тут есть над чем задуматься.

«Круг чтения» – это:

«...избранные, собранные и расположенные на каждый день Львом Толстым мысли многих писателей об истине, жизни и поведении», и цель этого предприятия, курсивом выделяет автор, состоит в том, чтобы:

«воспользовавшись великими плодотворными мыслями разных писателей, дать большему количеству читателей доступный им ежедневный круг чтения, возбуждающего лучшие мысли и чувства.»

Я желал бы, – заканчивает свое предуведомление Толстой, – чтобы читатели испытали при ежедневном чтении этой книги то же благотворное, возвышающее чувство, которое я испытывал при ее составлении».

У Абая намерения куда скромнее, собственно, у него, может поначалу показаться, вообще нет никаких намерений, превосходящих домашнее отдохновение от дел мирских.

Ему не хочется управлять народом, не хочется умножать стада, и знания тоже – ибо не с кем ими поделиться, не тянет к благочестию и воспитанию детей.

Так что же остается?

«Наконец, решил: буду развлекаться бумагой и чернилами, буду писать подряд всё, что вздумается. Если найдется человек, который увидит здесь нужное для него слово, то пусть выпишет слово и сделает его делом...» (у Абая здесь стоит не точка и не отточие, а запятая, но окончание фразы я, в интересах дальнейшего изложения, на некоторое время откладываю).

Положим, уже здесь, за усталым смирением много повидавшего в жизни, во многом изверившегося и разочаровавшегося человека угадывается как раз не

смирившийся с поражениями дух творца, воля поэта, знающего силу слова. И потому поза стороннего наблюдателя жизни, погруженного в свои меланхолические думы, это всё же скорее именно поза, и чем дольше перебираешь нанизанные на ожерелье бусины-Слова, тем больше в этом убеждаешься. Здесь же, на выдохе Слова Первого, завязывается едва слышный диалог, или пока еще, наверное, не диалог, а отклик на уроки русской просвещенности и русской литературы с ее сильно выраженным гражданским чувством и стремлением сократить дистанцию между словом и делом. И начинает покачиваться тень Льва Толстого.

Уже на первых листках календаря он выписывает речения евангельских апостолов и восточных мудрецов:

«Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный... Язык – небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает! И язык – огонь, прикраса неправды» (Иаков, 3:2-6).

«Когда услышишь, как люди говорят о порочности других людей, не разделяя их удовольствия. Когда услышишь о дурных делах людей, не дослушивай до конца и старайся забыть то, что услышал. Слушая же разговоры о добродетели людей, запоминай и рассказывай.

Делай так, и скоро ты привыкнешь к этому, что когда услышишь о зле людей, то будет для так же больно, как если бы бранили тебя самого, и когда сорвется у тебя с языка злое слово о ближнем, тебе будет так же больно, как если бы ударили тебя самого.

С восточного».

И вот – неотчетливый, даже на вид случайный след, выдающий близость мысли:

«Между начитанностью и настоящими знаниями, по-моему, такая же разница, как между наукой и внешними признаками ее, когда красноречие выдается за мудрость, а энергичные, быстро соображающие люди сходят за ученых...

...Прежде всего, надо уяснить себе, что преследование правдивого слова – позор» (Слово 38).

Следует, однако же, признать, что о силе и верности слова Абай – поэт не то что бы радеет больше, но говорит откровеннее и тем самым подступает к Толстому – автору «Круга чтения» ближе, чем Абай – мыслитель и оратор («Поэзия – властитель языка...» и многие другие стихотворения).

Так к чему же, вновь зададимся этим вопросом, соположение двух столь отдаленных друг от друга величин?

Ведь и по объему, и по жанру «Круг чтения» и «Слова назидания» – вещи явно различные.

У Толстого – том, даже два тома in folio, у Абая – тетрадка.

У Толстого – афоризмы и наставления, у Абая они тоже есть, но все-таки, по преимуществу, – наблюдения и размышления (вот почему, как мне кажется, неточен или, скажем, чрезмерно избирателен бытующий перевод – Слова *Назидания*).

У Толстого – чреполосица: выписки, иногда пространные, иногда предельно лаконичные, как оно и прилично афоризмам, комментарии к выпискам, собственные суждения, наконец, фрагменты из художественных произведений разных, главным образом русских, но также и английских, французских, немецких авторов. Правда, и выписки и фрагменты необычные: они не только не дорожат, но

более того, избегают точности, о чем Толстой предупреждает с самого начала. И дело тут не просто в том, что передает он «великие плодотворные мысли разных писателей», опираясь местами не на подлинник, а на переводы, но, главным образом, в том, что:

«выбирая часто отдельные места из длинного рассуждения, я должен был, для ясности и цельности, выпускать некоторые слова и предложения и иногда не только заменять одни слова другими, но и выражать мысли своими словами, так как цель моей книги состоит не в том, чтобы дать точные словесные переводы, а в том...» – и следует уже известный нам курсив.

Таким образом, яснополянский мудрец столь же *усваивает* положения предшественников и современников, сколько – вот и вернулись мы к этому сюжету, – и *присваивает* их, так что послания миру идут уже в переработанном виде. Любопытно при этом то, что Толстой переиначивает-редактирует не одни лишь переводные, но и русские тексты: Достоевского и Тургенева, Чехова и Лескова. Так, первое же из 52-х (по числу недель в году) чтений, включающих выписки из Матфея-евангелиста и Локка, Шопенгауэра и Торо, многих других завершается «Воровым сыном» – толстовской версией рассказа Лескова «Под Рождество обидели».

Нечто подобное есть и у Абая – 27 Слово, представляющее собой вольный (хотя и не настолько вольный, как «переводы» Пушкина или Лермонтова) пересказ записанного Ксенофонтом диалога Сократа с одним из его учеников, Аристодемом. Но это – исключение. Во всем остальном Слова – авторский текст: итог тяжелых раздумий о религии, этике, истории, бытии и быте.

И все-таки сходятся не только мысли, что мы еще увидим, но и формы мыслей, правда, скрещение происходит в пространстве неэвклидовой геометрии.

Если не в каждом, то в каждом втором сочинении, посвященном жизни и судьбе Абая, так или иначе реконструируется эпизод из книги Джорджа Кеннана «Сибирь и ссылка», где автор-путешественник описывает свою семипалатинскую встречу с русскими политическими ссыльными. Был среди них Александр Александрович Леонтьев, в недавнем прошлом пылкий народник, а ныне мирный краевед и статистик. Он-то и упомянул в разговоре с Кеннаном «старика-киргиза Ибрагима Конабая», который читает в местной библиотеке сочинения Бокля, Милля и Дрейпера. Наверное, гость просто не вполне разобрал имя, да и насчет «старика» непонятно, разве что Леонтьев, будучи всего на несколько лет моложе Абая (а тому было в это время меньше сорока), и себя считал человеком преклонных лет, но так или иначе именно от него – через посредство Кеннана – Запад узнал имя великого казаха.

Экзаменуя, по собственным словам, «старика» на предмет достаточного усвоения названных авторов, прежде всего Дрейпера, А. А. Леонтьев как-то упустил, что в круг чтения Абая входили европейские фигуры масштаба гораздо более крупного, нежели автор «Истории умственного развития Европы» – сочинения, хотя и очень популярного в свою пору, однако же довольно поверхностного и компилятивного. Например, Мишель Монтень.

К тому времени, когда Абай стал завсегдатаем Семипалатинской библиотеки, название главной и, собственно, единственной (если не считать дневника путешественника по Европе, обнародованного через много лет после смерти автора) книги Монтеня приобрело несколько двусмысленный характер. В русском переводе («Опыты»), первая версия которого появилась еще при Екатерине, закрепился ис-

ходный, то есть буквальный, смысл понятия: опыт как эксперимент, поставленный в данном случае на самом себе с целью выяснения способности наблюдения и суждения. Об этом автор уведомляет уже в самом начале, а впоследствии уточняет: «так как у меня не было никакой другой темы, я обратился к себе и избрал предметом своих писаний самого себя».

Но время привнесло в название книги блестящего галла – *Les Essays* – еще и иной смысл, сугубо литературный. Собственно, такую возможность предвидели или во всяком случае намекает на нее опять-таки сам автор:

«Я блуждаю из стороны в сторону, но скорее по собственной прихоти, чем по неумелости. Мои мысли следуют одна за другой, – правда, иногда не в затылок друг к другу, а на некотором расстоянии, но они все же всегда видят друг друга хотя бы краешком глаза... И если кто теряет нить моих мыслей, так это нерадивый читатель, но вовсе не я; он всегда сможет найти где-нибудь в уголке какое-нибудь словечко, которого совершенно достаточно, чтобы все стало на свое место, хотя такое словечко и не сразу разыщешь».

Так будем же радивы и постараемся увидеть в сочинениях Радищева и Фрэнсиса Бэкона, Паскаля и Толстого, Герцена и Абая, а если поближе к нам, то, например, Хосе Ортеги-и-Гассета и Иосифа Бродского то, что в них есть (и то, как это «что» оформлено) и, напротив, не будем искать того, чего нет и, более того, быть не может и не должно.

Взамен стройности и строгости – «в затылок друг другу» – некоторый, впрочем, рассчитанный, хаос, некоторое бросающееся в глаза, и тоже умышленное, противоречие. Ими-то и определяется характер жанра, который со времен Монтеня именуется «эссе», пусть даже словари литературных терминов указывают – и указывают справедливо – на иные черты: свободная композиция, афористичность, разговорная интонация и т. д. Быть может, онтологию жанра вернее ученых мужей определил писатель, автор одного из самых значительных в мировой литературе XX века романов «Человек без свойств» Роберт Музиль. Эссе, рассуждает он, это такая форма, которая «берет предмет со всех сторон, не охватывая его полностью. Предмет же, охваченный полностью, теряет вдруг свой объем и убывает в полноте».

Быть может, эта черта – заведомая недоговоренность (как, впрочем, и сознательная хаотичность) порождает аскезу или, во всяком случае, самоограничение эссеиста во взгляде – в отличие, положим, от романиста, который, приступая к сочинению романа, должен сначала, как наставлял Бальзак, обежать весь мир, проникнуться всеми чувствами, нравами и т. д.

Монтень остерегает читателя: «Я не ставил себе никаких целей, кроме семейных и частных... Назначение этой книги – доставить своеобразное удовольствие моей родне и друзьям... Содержание моей книги – я сам, а это отнюдь не причина, чтобы ты (читатель – *H. A.*) отдавал свой досуг предмету столь легковесному и ничтожному».

Герцен, автор «Былого и дум», этой классики жанра, оговаривает:

«– Кто имеет право писать свои воспоминания?

– Всякий. Потому что никто не обязан их читать».

Жан-Жак Руссо, начиная «Исповедь», предупреждает:

«Я хочу показать своим собратям одного человека во всей правде его природы».

В. В. Розанов ставит к «Уединенному» подзаголовок: «почти на правах рукописи», и, собирая воедино «восклицания, вздохи, полумысли и почувства», задается вопросом – «зачем? кому это нужно?», и сразу же на него отвечает:

«Просто – мне нужно. Ах, дорогой читатель, я уже давно пишу «без читателя» – просто потому что *нравится*... И не буду ни плакать, ни сердиться, если читатель, ошибкой купивший книгу, бросит ее в корзину».

Почти как у Монтеня – «я пишу свою книгу для немногих и на немногие годы».

И уж просто слово в слово, как у Абая (которого Розанов никак не мог читать, потому что в «Уединенное» вошли, главным образом, записи 1911 года, а Слово Первое было, напомним, обнародовано лишь пять лет спустя, да и то на окраинах империи, и до столиц тогда наверняка не дошло). Тут-то я и дописываю оборванную ранее фразу, это Слово венчающую: «Если же никому не нужны мои слова, то пусть они останутся словами».

Толстой – дело иное. Как мы помним, очерчивая Круг чтения, он адресует к городу и миру, и, не встречая желанного отклика, досадует: «Я не понимаю, как это люди не пользуются «Кругом чтения». Что может быть драгоценнее, как ежедневно входить в общение с мудрейшими людьми мира» (из дневниковых записей Н. Н. Гусева).

Но ведь Толстой, как уже отмечалось, «присваивает» мировое богатство и, стало быть, «Круг чтения» – это тоже очень личная книга (недаром, к слову, он разве что не на столе держал «Опыты», делал из них выписки, некоторые из которых были впоследствии включены в «Круг», а, отправляясь из Ясной Поляны в дорогу, оказавшуюся в его жизни последней, просил дочь послать следом, в числе иных, книгу Монтеня). Одно из отличий «Круга чтения» от упомянутых (и не упомянутых, но в том же роде написанных) здесь сочинений заключается в том, что Толстой *откровенно* говорит о том, что там выражено *прикровенно*. Ведь слова, выговоренные Монтенем, Розановым, Руссо, Абаем, что бы там ни говорили их авторы, это слова не «для немногих и на немногие годы», а для многих и на годы долгие, на века. И отразились в них не только беспокойный дух и прозрения художников и мыслителей, но атмосфера времени, естественно, всякий раз своего – французский 16 век – век гуманизма, Реформации и гражданских смут и французский же век Просвещения, русский Серебряный век, а на просторах Великой Степи – исход той цивилизации, которую Мурат Ауэзов называет конно-кочевой. Оттого-то эти сочинения и вошли в канон, не в последнюю очередь благодаря тому, что они наделены некоторой «странностью, такой формой самобытности, которая либо не поддается усвоению, либо сама усваивает нас и перестает казаться нам странной». Это я ссылаюсь на известного американского ученого-филолога Гарольда Блума; он, правда, пишет о западном каноне (известная книга автора так и называется), но мысль его вполне, как мне кажется, объемлет и канон восточный. Ну, а «случай Абая» это, конечно, второй вариант: форма его «Слов» давно уже «усвоила» соплеменников и далеко не только соплеменников поэта, и перестала казаться странной.

Высокие образцы эссеистики, которая самой своей формой – если вновь обратиться к Музилю – воплощает волю и мужество «жизни среди моральных противоречий» – появляются в переломные моменты истории народов. И быть может, сам этот момент перелома важнее того, *что чему* приходит на смену, как

и важнее его национального колорита и вообще любых внешних обстоятельств, сколь бы значительны они ни были. А раз так, то и форма, то ли оставаясь, то ли переставая быть странной, набухает содержанием, и мысли, рождающиеся в разные времена и в разных ойкуменах, сами того не ведая, вступают в напряженную переключку, и происходят незагаданные встречи далековатых величин.

Философские, морально-этические, гражданские воззрения Толстого, с одной стороны, и Абая с другой – тема огромная и пока, кажется, мало освоенная (оговариваюсь, потому что вполне допускаю, что в казахской научной литературе есть работы, мне просто не известные; на русском же для того, чтобы их сосчитать, хватит пальцев одной руки). И я менее всего намереваюсь погружаться на ее глубины – оно мне и не по силам. Так я же и предупредил с самого начала: примечания, заметки на полях, коих автор заранее закрепляет за собой право на некоторую непоследовательность и недоговоренность. Тоже своего рода эссеистика, только без глубины, без перспективы. Так и прошу относиться к уже сказанному и к тому, что будет сказано еще – в основном, в форме комментариев к цитатам, каковые по праву займут большую часть заключительного раздела этих заметок.

Как нити, не всегда заметные глазу, придают художественное единство многоцветному ковру, так некоторые сквозные темы «Круга» и «Слов» стягивают воедино наблюдения, замечания, афоризмы, имеющиеся, казалось бы, совершенно автономное значение, и одно к другому, отношение если и имеющее, то весьма отдаленное. Естественно, у Толстого эти темы развиты куда более основательно и глубоко, чем у Абая: где у русского гения – полотно, там у гения казахского – этюд, и дело здесь не в объеме видения и не в том, что Толстой, в отличие от Абая, *открыто* опирается на мудрость всего человечества, на умственное наследие Запада и Востока, что, естественно, сразу размыкает «Круг чтения» во все стороны света. Просто, повторю, задачи себе Толстой и Абай ставят разные.

Первый же календарный листок «Круга чтения» открывается выпиской из высоко ценимого Толстым Эмерсона (замечу, к слову, что Толстой с самого начала пользуется оговоренным правом переименовывать оригинал, – он лишь *опирается* на знаменитую лекцию Эмерсона «Американский ученый», прочитанную 31 августа 1837 года в Кэмбридже, весьма свободно пересказывая соответствующий ее фрагмент):

«Какое огромное богатство может быть в маленькой избранной библиотеке. Общество мудрейших и достойнейших людей, избранное из всех цивилизованных стран мира на протяжении тысяч лет, представило нам здесь в лучшем порядке результаты своего изучения и своей мудрости. Сами люди скрыты и недоступны, они, может быть, были бы нетерпеливы, если бы мы нарушили их уединение и прервали занятия, может быть, общественные условия сделали бы невозможным общаться с ними, но мысль, которую они не открывали даже лучшим своим друзьям, написана здесь ясными словами для нас, посторонних людей иного века. Да, мы обязаны хорошим книгам самыми главными духовными благодеяниями в нашей жизни».

И далее, из месяца в месяц Толстой будет извлекать из сокровищницы мировой человеческой мысли суждения о Знании, Разуме, Книге. Но, как во всяком порядочном эссе, оговорка важнее или по крайней мере не менее важна, чем говор.

Строго говоря, ссылка на Эмерсона это не самое начало «Круга», ей предшествует собственное высказывание автора:

«Лучше знать немного истинно хорошего и нужного, чем очень много посредственного и ненужного».

Таким образом, художник, педагог, моралист, энциклопедически образованный мыслитель, читавший на девяти языках, в том числе на древнегреческом и иврите, с самого начала остерегает тех, к кому обращается: знание – не вещь в себе, не поклажа, не объемом и уж тем более не внешним блеском оно ценно, но заключенным в нем внутренним светом и энергией, пробуждающей собственную мысль. И потом повторит с обезоруживающей прямоотой: «Знание – орудие, а не цель». Иными словами, опять-таки: не усвоение, а присвоение.

Оглядываясь назад и окрест себя, Толстой ищет и находит союзников по духу и мысли. Красноречив один из первых листков календаря – 9 января. Он представляет собою нечто вроде диалога или, скорее, суммы речений, где каждый следующий оратор подхватывает и развивает мысль предыдущего, а ведет (сейчас бы сказали: модернует) встречу составитель.

На входе теза, или афоризм:

«Знание только тогда знание, когда приобретено усилиями своей мысли, а не памятью».

На выходе – рассуждение и следующее за ним поучение:

«Мысль только тогда движет жизнью, когда он добыта своим умом, или хотя отвечает на вопрос, возникший уже в душе. Мысль же чужая, воспринятая умом и памятью, не влияет на жизнь и уживается с противными ей поступками.

...

Меньше читайте, меньше учитесь, больше думайте. Учитесь и у учителей, и в книгах только тому, что вам нужно и хочется знать».

А между ними – паутина сходных, хотя и иными словами выраженных мыслей:

«Только когда мы забудем, чему учились, мы начинаем истинно познавать» (Торо).

«Вредно даже читать о предмете прежде, чем сам не пораздумал о нем» (Шопенгауэр).

«Знание подобно ходячей монете. Человек отчасти имеет право гордиться обладанием ею, если он сам поработал над ее золотом и пробовал ее чеканить или по крайней мере честно приобрел ее уже использованную» (Джон Рескин).

Разум, ученость, знание – великое благо: в этом сходятся все: от имама Али, двоюродного брата и зятя пророка Мохаммеда, персидского поэта VII века, автора «Пути красноречия» – собрания проповедей, писем и высказываний на разные темы, где и была впервые сформулирована максима: «знание – сила», до Фирдоуси («Ваша сила исходит от вашего знания») и, наконец, Фрэнсиса Бэкона, с чьим именем мы, европейцы, прежде и ассоциируем эту мудрость. Но они же сходятся и на том, что знание может быть не только возвышающей силой, но и тяжким бременем. «Я готов утверждать, – пишет старший современник Бэкона Мишель Монтень, – что подобно тому, как растения чахнут от чрезмерного обилия влаги, а светильники от обилия масла, так и ум человеческий при чрезмерных занятиях и обилии знаний, загромаженный и подавленный их бесконечным разнообразием, теряет способность разобраться в этом нагромождении и под бременем непосильного груза сгибается и увядает».

Абай влетает в эту симфонию свою партию.

Авторитет знания и разума для него бесспорен.

«К достатку и духовному ведут разум и собранность».

«Человек утверждает на земле, постигая тайны явлений природы».

«Тот, кто желает увидеть себя в ряду разумных людей, должен раз в день, или раз в неделю, или хоть раз в месяц отдавать себе отчет: как прожил эти дни, пытался ли применить знания, были ли его дела полезными и богоугодными».

Бесспорен и источник просвещенности:

«...Наука, знание, достаток, искусство – все это у русских.

...Русские видят мир. Если ты будешь знать их язык, то на мир откроются и твои глаза.

...Изучай культуру и искусство русских. Это ключ к жизни».

Но далее идут, как и у иных участников диалога, оговорки и уточнения, только даваться они Абаю должны, как мне кажется, намного труднее, чем художникам и мыслителям Запада (включая Россию), да и Востока, за которыми стоит вся интеллектуальная мощь античности, Средневековья, Возрождения, открыто опираясь на которую, скажем, Монтень может говорить о возможном вреде науки, не опасаясь укоров в ретроградстве и даже мракобесии. Конечно же, и за Абаем – не выжженная пустыня столетий, конечно, и он наследует мощной традиции познания, но сама эта традиция на протяжении долгого времени пребывала словно бы в хранилище, не становясь живым достоянием кочевого народа. Он сам об этом пишет:

«Мы должны были расширять свой кругозор, умножать сокровища, с неимоверным трудом накопленные на первых порах жизни. Жажда знаний владела нами, и надо было всё остальное тоже подчинить высоким порывам души».

Но...

«Но мы не смогли этого сделать. Мы шумели и галдели, словно вороньё, и не пошли дальше аульных распрей».

В такой исторической и онтологической обстановке надо было обладать подлинно высоким моральным мужеством, чтобы подвергнуть сомнению абсолют знания, которое сам же Абай, полагая невежество одной из трех вещей, способных унижить весь род человеческий, проповедовал, горячо и самозабвенно, чтобы выговорить такие, например, слова, отчетливо перекликающиеся со словами, произнесенными в иные времена и на иных меридианах, в своей, естественно, природной огласовке

«Если твоя душа лежит к другим вещам, и ты изучаешь науку ради достижения этих самых других интересов, то твое отношение к науке подобно отношению злой мачехи к пасынку.

...Кому нужны твои знания, если они не покорили, не захватили всецело тебя самого? Какой прок от истины, если ты сам не предан ей?

... Нельзя ли утверждать, ... что в любом человеке могут соединиться воля и наука? И если да, то не будет ли это означать могущества человека, вернее, могущества его знаний?»

Слово 17 выдержано у Абая в форме диспута. Заспорили Сила, Разум и Сердце – кто из них нужнее человеку? Так ни до чего и не договорившись, обратились за помощью к Знанию. Знание рассудило так: у первых двух есть свои несомненные преимущества, но водителем всё же должно быть сердце, оно – царь человеческой жизни.

Быть может, здесь и проступают контуры пиков, где уж точно, помимо более или менее близких схождения или расхождений, стираются границы времени и пространства.

Знание – благочестие – добро – любовь – вера – вот опоры бытия, и вот умов связующая нить.

В «Круге чтения» эта цепочка ни минуты не провисает, собственно, уже на первых листках календаря Толстой записывает: «Одно из самых грубых суеверий есть суеверия большинства так называемых ученых нашего времени о том, что человек может жить без веры», тут же подкрепляет эту мысль фрагментом из книги одного из своих американских корреспондентов религиоведа Мориса Флюгеля «Дух библейского законотворчества»: «Религия есть высший и благороднейший деятель в воспитании человека, величайшая сила просвещения», затем... впрочем, оборву вереницу суждений того же рода, заметив лишь, что чаще всего в поисках союзников по духу Толстой обращается к Блезю Паскалю. Человек, писавший, по его словам, кровью сердца, Паскаль занимал в духовной и интеллектуальном кругозоре Льва Толстого совершенно особое место. Главное достоинство «Мыслей», этой «удивительной книги», он усматривал в том, что автор ее неотразимо доказал «необходимость веры, ... невозможность человеческой жизни без веры, то есть без определенного твердого отношения к миру и Началу его».

Важно то, что, просвещенный верующий человек, Паскаль именно доказал свою правоту, потому что, записывает Толстой на листке, помеченным 16 сентября, «удален от Бога не тот, кто сомневается в Его существовании и мучится этим сомнением, а тот, кто на слово поверил в существование или несуществование Бога и не сомневается в том, что ему сказали» (как близко, кстати, перекликается этот взгляд с очень двойственными, очень и впрямь мучительно противоречивыми суждениям Паскаля о пирронизме, учении, изложенном Секстом Эмпириком в конце II века н. э. и претерпевшем ко временам Монтеня и Паскаля значительную трансформацию). Неудивительно поэтому, что в «Круге чтения» имя Паскаля повторяется чаще любого иного, а одно из «Недельных чтений» в календаре представляет собою краткий очерк жизни великого французского философа и математика.

Читал ли Абай Паскаля, это вопрос. На протяжении XIX века «Мысли» выходили на русском трижды, и последнее по времени издание относится к 1892 году, как раз когда Абай начинал записывать свои «Слова». Так что в принципе читать мог. А мог и не читать, и даже имени не слышать. Чистое гадание. Но вот то, что он не читал толстовских выписок из Паскаля, – это точно. Тем удивительнее схождение смыслов, а иногда чуть не способов их выражения, особенно если взять во внимание весьма нелестные порой, а то кощунственные – в восприятии мусульманина – высказывания Паскаля о пророке Мохаммеде в противопоставлении Иисусу Христу («Магомет убивал, И. Х. давал убивать своих» и т. д.).

Быть может, более всего Толстой ценил у Паскаля, сравнивая его в этом смысле с Гоголем, неумное стремление помирить знание, разум с верой и страстное, как он говорил, к ней, вере, отношение.

«Если бы наставлять нас был способен один только разум, тогда пусть Бог даст, напротив, чтобы мы в нем вовсе не имели нужды и познавали бы все предметы инстинктом и чувством. Но природа отказала нам в этом благе; напротив, она дает нам весьма мало познаний такого рода, а все остальные могут достигаться лишь рассуждением.

Вот почему блаженны и тверды в убеждении те, кому Бог дал веру через сердечное чувство; но тем, кто ее не имеет, мы можем ее дать лишь через рассуждение, пока Бог не даст им ее через сердечное чувство, без чего вера остается делом всего лишь человеческим и бесполезным для спасения души».

Тут как раз в русско-французский диалог вплетается голос Абая. То есть, звучал он то более, то менее отчетливо, всё время, с Первого Слова до последнего, Сорок Пятого. Начиная, Абай, сразу ставит науку и веру рядом, а заключает так:

«Ученым и мыслителем становится только тот, кто способен на глубокое чувство и обладает высшей справедливостью.

Но не мы придумываем науку, она появляется как результат наших ощущений, наблюдений и размышлений о созданном вокруг нас и организованном для нас мире».

Но в какой-то момент голос этот набирает глубину и высоту звучания. Этот момент – Слово 38. Мне кажется – вполне допускаю, что опять-таки по недостатку знакомства с предметом, – что оно всё еще в достаточной мере не расшифровано, возможно, потому, что слишком долго находилось под цензурным ярмом. Так или иначе, не мне, с моим рационалистическим сознанием да к тому же если не вполне атеисту, то уж агностику во всяком случае, даже пытаться проникнуть в его глубины. В каком-нибудь ином случае я мог бы, наверное, поделиться чисто художественным впечатлением: Слово это – амальгама, одновременно намаз, поэзия и свод поучений вполне практического свойства. И философия, конечно. Поделиться и даже развить это впечатление, обратившись разом к «Житию протопопа Аввакума» и проповедям Джона Донна. Но сейчас это явно не к месту, и потому просто ограничусь несколькими выписками, сопроводив их лишь минимумом комментариев, дабы любознательный читатель мог сам провести параллели и с «Кругом чтения» и с иными сочинениями, и упомянутыми здесь, и не упомянутыми, однако отдаленно (а то близко) родственными. Ну, хотя бы с «Благодатным знанием» Юсуфа Баласагунского или «Ученым незнанием» Николая Кузанского.

«Человек овладевает науками и знаниями тогда, когда всем своим существом стремится к истине и правде, пытаясь понять самую суть явлений. Разум и вера двигают им, ибо истина от земли, и он идет к ней разумом, а правда от Аллаха, и он принимает ее на веру».

Мысль развивается, идет на глубину и разрешается мощным аккордом:

«Истинно верующий должен обладать тремя качествами: знанием, честностью и состраданием. Вера зовет его к слиянию с Аллахом, и он стремится к всеведущности, справедливости и милосердию. К чему, в конце концов, ведут эти три силы? В чем совершенство человеческого разума? Где пределы духовного развития? В каких формах предстанет совершенство? Это субстанция неизмеримого и высшего, это – истина, разум и благо».

Когда-то Мухтар Ауэзов назвал веру Абая «условной религией критического разума», пояснив, что к исламу он «подходит критически и пытается сочетать (его) с моралистической и умозрительной философией». Не мне судить, насколько верно это суждение, но ясно видно одно: в стремлении к высокому единству, запечатленному в Слове, Абай мужественно превозмогает канон: он не только весьма непочтительно отзывается о его хранителях – муллах, но впадает в ересь (с точки зрения правоверного мусульманина) еще более тяжкую – амнистирует мыслителей, влюбленных в правду, но сомневающих в учении Пророка:

«Одни из этих мудрецов не признают Аллаха, другие не принимают условий имана, третьи сомневаются в божественном начале восьми основных качеств человека».

Однако же, все это вовсе не основание для того, чтобы предавать их анафеме и объявлять врагами истинной веры, ведь «наиболее пытливые из них (этих мудрецов – «иноверцев» или даже вовсе неверующих. – Н. А.) открыли электричество и способы его использования, научились ловить молнию, держать связь на далеком расстоянии. Они подчинили своему разуму силу огня и воды, заставив их работать на человека. И самое главное – они умеют направлять ум сотен людей на полезные дела. И потому мы обязаны им».

Быть может, это и есть «условная религия критического разума». А теологи назвали бы, наверное, такую веру экуменической. Говоря же проще, на языке повседневности, – Абай был терпим, он умел и любил слушать *другого*, не видя в нем *чужого*. Такое умение, которое, увы, наш расколотый, отравленный миазмами ксенофобии мир утрачивает всё стремительнее, соприродно гуманизму. Это мировоззрение развилось на Западе в эпоху Возрождения, но Абай, человек Востока и законный наследник философских идей Востока, воспринял его страстно и сердечно. И это тоже сближает его с Толстым.

Вспомним один из ключевых эпизодов «Войны и мира». Пьера Безухова ведут дымящейся Москвой в ставку маршала Даву, ему грозит расстрел, но...

«...Даву поднял глаза и пристально посмотрел на Пьера. Несколько секунд они смотрели друг на друга, и этот взгляд спас Пьера. В этом взгляде, помимо всех условий войны и суда, между этими двумя людьми установились человеческие отношения. Оба они в эту минуту смутно перечувствовали бесчисленное множество вещей и поняли, что они оба дети человечества, что они братья».

Абай руководится той же идеей людского братства:

«Человек человеку друг. Потому твое рождение и возмужание, твое устремление к достатку или ощущение голода, твои печали, уклад жизни, телосложение, наконец, твоя смерть, – не отличаются от природы и судьбы любого другого человека. Ты, как и все люди, сходишь в могилу и гниешь; знаешь, что тебя тоже ждет страшный суд; твой страх перед бедами и наслаждение дарами обоих миров одинаковы с ощущениями тебе подобных».

При таком взгляде на мир не удивительно – и на этом я заканчиваю свой беглый, с пропуском множества остановок, проезд по пути Ясная Поляна – Жидебай – обратно, – что оба они, и Толстой и Абай, твердо и неуклонно восставали против того, что является противоположностью союзу людей, – национализму. Или даже, страшно выговорить, патриотизму. Впрочем, это мне страшно, а вот графу Льву Николаевичу Толстому было совсем не страшно, и слова его сегодня звучат не менее, а то и более актуально, что век с четвертью назад.

В 1900 году Толстой, отвлекаясь от составления «Круга чтения», пишет статью «Патриотизм и правительство», открывающуюся следующим пассажем:

«Мне уже несколько раз приходилось высказывать мысль, что патриотизм есть в наше время чувство неестественное, вредное, причиняющее большую долю тех бедствий, от которых страдает человечество... Но удивительное дело, несмотря на неоспоримую и очевидную зависимость только от этого чувства разоряющих народ всеобщих вооружений и губительных войн, все мои доводы об отсталости, несвоевременности, вреде патриотизма встречали и до сих пор встречают

или молчанием, или умышленным непониманием, или еще всегда одним и тем же странным возражением: говорится, что вреден только дурной патриотизм, джингоизм, шовинизм, но что настоящий, хороший патриотизм есть очень возвышенное, нравственное чувство».

И далее Толстой доказывает, что никакого такого «хорошего» патриотизма не существует в природе, и называется этим словом «очень определенное чувство предпочтения своего народа или государства всем иным народам или государствам».

Где я, в какой стране, в какое время живу? Déjà vu. Ничего не меняется, кроме технических способов распространения идей. Воздействовать на умонастроения масс сейчас, безусловно, способнее, чем раньше. Патриотический пот заливал глаза, в ушах звучит грохот патриотических барабанов, и что ни день с телеэкрана, по радио, в соцсетях патриоты-профессионалы уверяют сограждан в том, как хорошо жить в России и как плохо на Западе, особенно в Америке. На десятилетия вперед всё загадал Толстой. Впрочем, на то он и гений, на то и пророк.

Напечатана его статья была сначала в Лондоне, затем в Берлине и только в 1906 году в России, брошюрой, которая тут же была конфискована. Впрочем, это был уже не первый (и, как мы знаем, не последний) конфликт Толстого с властью.

За шесть лет до этой статьи Толстой написал пространное эссе на ту же тему – «Христианство и патриотизм». Мысль в нем проводится та же, только в еще более резкой форме:

«Патриотизм в самом простом, ясном и несомненном значении своем есть не что иное для правителей как орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей, а для управляемых – отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти. Так он и проповедуется везде, где проповедуется патриотизм.

Патриотизм есть рабство».

Дальше приподняла свое недреманное око цензура. Как и «Патриотизм и правительство», эссе сначала было обнародовано в Париже, Лондоне и Берлине, на русском же увидело свет лишь через 12 лет после написания, а издатель тут же стал объектом судебных преследований. Но на этом мы задерживаться не будем – все равно гений победил.

Абай напрямую на эти темы не рассуждает. Но все его «Слова» буквально пропитаны духом национальной самокритики, порой настолько суровой, что порой кажется: еще шаг, и он сорвется в пропасть отрицания собственного народа, собственной истории, собственной мифологии. И уже в самом этом бесстрашии, внутренней свободе мысли, каковая тоже есть печать гения, он близок Толстому.

Уже во *Втором Слове* Абай сетует, зачем казахи неумно смеются над людьми иных кровей, от татар до русских, зачем они, без всяких на то оснований, стремятся возвыситься над другими? В *Третьем* с болью говорит, как в суе и мелких сварах «мой народ мельчает с каждым годом и становится все более безнравственным». В *Седьмом* потрясенно вопрошает, как можно дорожить собственным невежеством? В *Шестнадцатом* укоряет казахов в душевной и умственной лени. В *Двадцатом* *Втором*, печально оглядываясь окрест, ищет и не находит, «кому из казахов сегодня я мог бы отдать дань уважения и испытать чувство любви?»

И это Слова мессии, ведущего свой народ к свету веры и знания?

И видит в патриотизме психологию раба автор «Севастопольских рассказов» и создатель образов Наташи Ростовской и Платона Каратаева?

Всё же надо договориться о содержании понятий. По-моему, мудро по этому поводу высказался в одном эссе 1914 года уже известный, но еще не всемирно знаменитый тогда Герман Гессе.

С началом Первой мировой войны, пишет он, в Германии появилась тьма ура-патриотов, которым показался подозрительным сам Гёте – оказывается, «он заражал немецкий дух тем мягкотелым, холодным интернационализмом, которым мы давно уже болеем и который ослабил германское самосознание.

В этом, – продолжает автор эссе «Друзья, не надо этих звуков!», – суть дела. Гёте никогда не был плохим патриотом, хотя он и не сочинял в 1813 году (то есть с окончанием наполеоновских войн. – *Н. А.*) национальных гимнов. Любовь к человечеству он ставил выше любви к Германии, а ведь он знал и любил ее, как никто другой. Гёте был гражданином и патриотом в интернациональном мире мысли, внутренней свободы, интеллектуальной совести, и в лучшие свои мгновения он воспарял на такую высоту, откуда судьбы народов виделись ему не в обособленности, а только в подчиненности мировому целому».

Эти высоты понятны и близки Абаю, недаром, обращаясь к казахам, он, по собственному признанию, желает «писать обо всем мире», и недаром находил, что «народ, который не имеет великой цели и общей правды, духовно мертв».

Эти высоты понятны и близки Льву Толстому, недаром он записывает в «Круге чтения»:

«Ребенок, встречая ребенка улыбкой, выражает доброжелательную радость, так же, как и всякий не развращенный человек. А между тем, человек одного народа, не видя даже иноплеменника, уже ненавидит его и готов наносить ему страдания и смерть. Какие же великие преступники те, кто вызывает в людях эти чувства и поступки!!!».

И в который уж раз устало думаешь, сколь поучительно звучат такие слова в наше время. Жаль только, ученики из нас плохие.

...Нынешний год, когда отмечается 175-летие рождения Абая, объявлен в Казахстане Годом его имени. Проходят и еще будут, наверное, проходить различные торжества, концерты, научные чтения, новые издания книг поэта и мыслителя, возможно, новые переводы появятся. Особо отметил бы празднично изданную в Москве книгу «Избранное», где сочинения Абая представлены как в оригинале, так и в русских переводах. Инициатором издания и одним из авторов включенных в него статей, посвященных творчеству Абая, выступил видный казахстанский государственный деятель, дипломат и ученый-гуманитарий Таир Мансуров, справедливо заметивший, что «мудрые размышления Абая будут (для нынешнего молодого поколения – *Н. А.*) одним из самых важных ориентиров в сегодняшней непростой жизни». Всё это правильно и хорошо правильно. Но еще лучше было, если бы год этот не был календарным и 31 декабря не закончился, а мы – не только соплеменники Абая, и не только молодежь, но и люди иных культур и иного возраста – продолжали попытки проникновения в глубины мысли классика, остающегося современником всё новых поколений людей.

